

РАССКАЗЫ

(из цикла «Счастливые люди»)

Они жили долго...

Люди не выносят тишину. В тишине – частица вечности, а это ужасает. Поэтому люди постоянно убивают тишину попсовой музыкой, телевизором и разговорами о политике. Кажется, что и сказать-то нечего, но проще говорить ни о чём, чем заглядывать в бездну тишины.

Какое счастье, что у меня есть собеседник, с которым можно часами молчать. Это большой талант – умение молчать. Для этого интеллекта недостаточно. Для этого нужна отвага.

Вот поэтому и встречаемся мы с Михал Михалычем. Помолчать пару часов с хорошим человеком – это большое дело.

Сегодня прохладно. Бриз несёт с океана солоноватый запах гнили. Мы сидим с Михал Михалычем, покуриваем и глубокомысленно смотрим на дорожку, тянущуюся вдоль бульвара, по которой движется, укрепляя здоровье, разномастная публика. Кто на роликах, а кто и на своих двоих. Вот два гея, взявшись за руки, несутся на роликах. Прокатились туда-обратно, потом встали у канадского клёна и целуются взапрос. И так это у них выходит страстно и обнажённо, что стайка молодых хасидок в чёрных юбках по щиколотку возмущённо переглядывается на бегу. Затем, как по команде, развернулись и побежали в другую сторону.

– Любовь... Загадка... Вечная тайна... – заметил Михал Михалыч. – Никогда не поймёшь, чем она закончится, и закончится ли когда-нибудь.

Я молчал. Не хотелось словами разрушать банальную конструкцию, что выстроил Михал Михалыч.

А он вынул из пачки сигарету и, понюхав её, аккуратно уложил обратно. Это потому, что Михал Михалыч старается растянуть пачку на три дня. Не из опасений за здоровье. Нет. Просто в Нью-Йорке сигареты подорожали так, что поневоле приходится экономить.

Я терпеливо ожидал конца этих манипуляций, зная, что после них Михал Михалыч нет-нет да и вспомнит что-нибудь интересное. И ждать мне пришлось недолго.

– Я, Боря, вспомнил сейчас потрясающую историю. Её можно озаглавить так же, как Грин заканчивал многие свои рассказы о любви: «Они жили долго и умерли в один день». Если вы наберётесь терпения минут на пятнадцать, то я вам её расскажу.

Я сказал, что терпения у меня хватит, и угостил Михал Михалыча сигаретой. И он, прикурив, начал.

– Как-то много лет тому назад довелось мне нарвать грыжу. Пошлейшая штука, я вам скажу. Но какая бы ни была, а оперировать надо. Вот я и пристроился по благу в онкологический диспансер. Там и почище было, и хирурги поопытнее, и, главное, главврачом там служил мой одноклассник Валерий Сергеевич. В первый же день я пожалел, что позарился на блат. Это была первая больница – из всех,

что я видел, – где пациенты не играли в карты и не рассказывали анекдоты. В операционные дни больные периодически поглядывали на часы. Считалось, что операция должна занимать четыре-пять часов. А если кого-то привозили из операционной раньше, то, значит, он уже не жилец. Вскрыли, обнаружили множественные метастазы и зашили, не оперируя. Моя плёвая, по здешним меркам, операция длилась минут сорок. И когда меня везли в палату, я встречал сочувственные взгляды болящих, праздно бродящих по коридору.

Палату мне отвели отдельную: блат – он и в Африке блат. Телевизор, свежие газеты... все дела. Болей – не хочу. Я приноровился курить в приоткрытое окно. К вечеру приходили друзья и можно было выпить рюмашку втихаря. Чем не жизнь?

Дня через три пришёл главврач Валерий Сергеич и спросил, не буду ли я против, если он ко мне подселит соседа, сослуживца отца полковника Лисичкина. Конечно, я был только рад соседу с такой шикарной фамилией.

Полковник Иван Павлович Лисичкин, вопреки ожиданиям, оказался похож не на лисичку, а на лося. Баскетбольный рост, рельефные мышцы и беззащитная улыбка. Мы познакомились и уже к обеду подружились.

К вечеру пришла жена Ивана Павловича Марта Феликсовна. Тоже росту выше-среднего, красивая той особой красотой, которая появляется у женщин с возрастом, и, так же, как муж, брызжущая обаянием.

– Я тебе, полковник, помереть не дам, – заявила она с порога, – ты и не надейся даже. Ишь – что выдумал! Запомни: уйдём только вместе.

Потом она рассказала, что Ивану Павловичу диагностировали рак желудка. Готовят к операции. Но пусть полковник Лисичкин и не надеется – помереть ему она не позволит.

А Иван Павлович рассказал, как в сорок четвёртом Марта Феликсовна вынесла его с поля боя. Как валялся он по госпиталям, как нашла его там Марта, как забрала домой и буквально поставила на ноги. Вот с той поры и живут вместе.

– Правда, мы не расписаны, – уточнила Марта Феликсовна. – Эти условности не для нас.

– Марта! Ты не права, – одёрнул Иван Павлович. – Вот как только выйду из больницы, так сразу и оформим все формальности.

Через день его увезли на операцию, но не прошло и часа, как вернули в палату. Когда Ивана Павловича перекладывали с каталки на кровать, я всё смотрел на его ноги, иссечённые голубоватыми от времени шрамами. И мне было жаль этого сильного мужика, которого пожирала болезнь.

На следующий день меня выписали, и быт, хлопоты и заботы заставили меня забыть о полковнике с такой ласковой фамилией.

А года через три я случайно встретил его с женой на трамвайной остановке. Я ждал трамвай, а они шли мимо, взявшись за руки. Точно как эти пацаны.

Михал Михалыч кивнул головой в сторону, где миловались мальчишки на роликах. И только он это сделал, как один из влюблённых оттолкнул от себя партнёра, перескочил через ограждение из металлических труб и выехал на дорогу. Он пересёк шестирядное шоссе, маневрируя между несущихся машин, и остался цел и невредим. Потом присел на нашу скамью и снял ролики. По его лицу катились какие-то голливудские слёзы. Не верилось, что человек может плакать такими крупными слезами. Но это были уже наши с Михал Михалычем проблемы. А пацан связал ролики шнурками, закинул на плечо и ушёл, гордо вскинув голову.

– Жизнь, – попытался объяснить происшедшее Михал Михалыч. – Тут тебе и горе, тут тебе и радость.

Помолчали. Я спросил:

– Так что там дальше с Лисичкиными было?

– Да! – спохватился Михал Михалыч. – На чём я остановился? Да! Трамвайная остановка. Когда супруги подошли поближе, я поздоровался и спросил о здоровье.

– Опять не дала мне Марта помереть, – засмеялся Иван Павлович. – Не знаю точно, какому она Богу молилась, только рак мой исчез, как и не был.

Я хотел было расспросить его подробней, но подошёл мой трамвай и мы расстались.

И вот как-то в дружеской компании я рассказал о чудесном исцелении полковника Лисичкина. О том, что любовь творит чудеса. А мне друзья в ответ: так и так, нет больше Лисичкиных. Дескать, обнаружили у Марты рак прямой кишки. Собрались оперировать – выводить кишку на бок. Супруги сходили в церковь, обвенчались. Потом поужинали в ресторане. А когда пришли домой, Иван Павлович выстрелил из наградного пистолета Марте Феликсовне в затылок, а потом себе в рот. Так что умерли они так, как мечтали: в один день.

– Да... – протянул я. – История... Жалко стариков.

– Эх, Боря! – сказал Михал Михалыч. – Это ещё не финал. Через несколько лет я Встретил Валерия Сергеевича. Ну, того моего одноклассника, который когда-то был главврачом онкологии. Так он мне рассказал, что на вскрытии у Марты никакого рака не обнаружили. Обычный геморрой.

Мы с Михал Михалычем закурили по последней, помолчали ещё часик и разошлись. Он к себе в nursing home¹ на ужин, а я в бар, чтобы помянуть как следует всех влюблённых.

Лётчики

– Романтическая профессия. – сказал Михал Михалыч, проводив взглядом истребитель, пронёсшийся над заливом. Оно и сегодня слово «лётчик» звучит. А в наши годы при этом слове у девушек температура тела повышалась и озноб бил. Да что там говорить? Я как-то купил на толкучке кожаную лётную куртку на медвежьем меху. Какие дивиденды у девочек я на этой куртке заработал – не поверите, Боря, да я Вам и не расскажу... Впрочем, я вовсе не о куртке хотел рассказать, а о своеобразном лётном братстве. Нет! Не об этом... А! Запутали вы меня, Боря. Я расскажу, а вы уж сами сообразите, что к чему.

Михал Михалыч помолчал, глядя на асфальт перед собой, пожевал губами, сделал несколько неопределённых жестов руками и начал.

Служил я срочную службу вместе с одним интересным парнем. Звали его Бенито Миронов. Он до призыва работал инженером на ВЭФе. Может, помните, был такой радиозавод в Риге? Был этот Бенито высоким блондином. Руки золотые. Всё командование носило ему телевизоры ремонтировать. По этому случаю командир части даже приказал оборудовать в подвальчике для Бэна мастерскую.

Ну и вот. Оставалось этому Миронову служить примерно полгода. И тут приходит в часть правительственная телеграмма. Ну, сразу все зашустрили, забегали... Приодели Бэна во всё новое и отправили в краткосрочный отпуск.

Писаря потом раскололись, что папашка у Миронова умер и что был он большой шиш, поэтому такая суета.

Короче, вернулся Миронов с похорон – лица на нём нет. Я подошёл, выразил, так сказать, свои соболезнования. А он мне шепотком, мол, земля, вечером заходи в мастерскую.

После отбоя сели мы с Мироновым в его мастерской, выпили, закусили рижскими деликатесами. Я и спрашиваю:

– Бэн! А что с отцом случилось?

Смотрю – у него желваки на скулах ходят. Говорит:

¹ Частная лечебница, в данном случае – дом престарелых (англ.)

– Я тебе, Миша, сначала эпизод из кинофильма расскажу. Вот, представь себе латышский хуторок. С одной стороны лесок, с другой – луг. В доме на кухне бреется русский майор в нижнем белье. Время от времени слышно, как пролетают самолёты, как вдалеке рвутся снаряды. И вдруг в кухню входит немецкий офицер. Пауза. Потом немец говорит:

– Ты не волнуйся, коллега. Я не буду стрелять. Война закончена. Гитлер капут. Я прилетел забрать свою женщину.

Русский отвечает по-немецки:

– Я не волнуюсь. Я бреюсь. А эта женщина моя, и я её не отдам.

И тут входит женщина с тазом белья в руках.

– Айна! – говорит немец. – Поехали со мной. Я на самолёте. Бросай всё, и полетели. В Швеции нас уже ждут.

– Решай, Айна, – говорит майор по-русски. – Только помни, что у тебя есть отец и брат и что их расстреляют. И я тут буду ни при чём. Твои же соседи на тебя и донесут.

– Я не поеду с тобой, Карл., – говорит Айна. – Я люблю Лёву и я жду от него ребёнка.

– Тогда немец козырнул и вышел. Взревели моторы и поднялся в воздух мессершмит с полянки.

– Хорошо, что мы в кусты мой самолёт загнали. А то бы шёл сейчас пешком, – сказал русский майор.

Я выпил водки и сказал Бэну, что кино, конечно, интересное, но всё это неправда.

– Как это – неправда? – обиделся Миронов. – Айна – это моя мама. А русский майор... мой отец. Я потом спрашивал у мамы, почему же это они не стреляли друг в друга. Она говорила, что этого мне не понять. Потому что они были лётчики. Они не привыкли убивать сами. За них убивали машины. А этот русский после войны частенько к матери заезжал. Поэтому я и родился. У него таких, как я, детей было... четверо парней и одна девушка приехали на похороны. И представляешь – ни от кого не отказался. Признал. Свою фамилию дал. И отчество, ясное дело.

Более того – нам полагается приличное наследство. Но... я откажусь от наследства, Миша. И фамилию свою сменю. Как ты думаешь, Зариньш – это красиво будет?

Я сказал, что красиво, мы снова выпили, и я спросил:

– А что с Карлом?

– Я пробовал его разыскать по просьбе мамы, – ответил Бэн, закусывая. – Мне ответили, что его не дождалась в Швеции. Наверное, русские сбили.

– Видишь, как твоей маме повезло, – ляпнул я.

– Да, – согласился Миронов. – Можно сказать, что и повезло.

Он снова поиграл желваками и поставил точку в разговоре:

– Он застрелился, этот кабан. Он был директором авиазавода. А там взорвался один из цехов. Вот этот гад с перепугу и застрелился. Оставил подробное завещание и выстрелил себе в висок.

Представляешь! Он насиловал мою маму! Он всю жизнь её насиловал! Сволочь. Мама мне сама об этом после поминок рассказала.

Мы пили водку, Боря. Я смотрел на этого породистого, холёного человека и закипал:

– Скажи, Бэн, у тебя в детстве была няня?

– Конечно, Миша, – он не сразу понял, к чему я клоню. И няня была, и квартира хорошая в Риге, и всякое такое.

– Вот видишь, Бэн, – сказал я негромко. – У тебя было всякое такое. «За детство счастливое наше спасибо, родная страна». А твои сверстники в это время в

деревнях с голоду пухли. Я носил рубашки с перелицованными воротниками, а ты не знал, какой костюм надеть. Мы зарабатывали гастриты по студенческим столовкам, а ты питался в лучших ресторанах... Я вот что тебе скажу, Бэн: у тебя был хороший отец. А кто, где и кого насиловал – война давно списала.

– Наверное, ты прав, Миша, – задумчиво сказал Миронов. – Отказываться от наследства неразумно. Это и разговоры ненужные вызовет. А фамилию я всё равно сменю. Это немодная сейчас фамилия в Латвии.

Снова пронёсся истребитель, оставив за собой белесый след. Чёткий вначале, но со временем раплывающийся в обычный туман.

– Вот, и судите сами, Боря, к чему это я вам рассказал. То ли о лётчиках, то ли о любви, то ли сам не пойму, о чём...

Михал Михалыч тяжело поднялся со скамейки и пошёл в сторону своего nursing home.

Дядя Вася

– Дети тоже разные бывают, – сказал Михал Михалыч ни к селу ни к городу.

Потом достал из кармана несколько орешков и поделил их между тремя бойкими ребятами, которые крутились возле ног, выклянчивая гостинец.

Помолчали. И Михал Михалыч продолжил.

Где-то в конце сороковых мама подруга Шура привела к нам на смотрины своего очередного мужа. Где она их находила мужиков при послевоенном дефиците – это для меня до сих пор загадка. Но находила. Её нового мужа звали Василий Васильевич. Дядя Вася – так он велел мне его называть.

Дядя Вася мне сразу понравился. Во-первых, у него была красивая накладка на руке, во вторых, он умел очень громко петь «Я помню тот Ванинский порт». Но самое главное – у дяди Васи был полный рот блестящих металлических зубов.

– Чистая сталь! – хвастался дядя Вася. – Хочешь, вилку перекушу?

А потом начинал бесконечные рассказы о колымских лагерях.

Отец с матерью только тревожно переглядывались.

Но мне дядя Вася очень нравился. Я похвастался мальчишкам во дворе, что у моего друга дяди Васи железные зубы и он кого хочешь загрызёт. Пацаны мне не верили и дразнили другом крокодила. Но это до поры до времени.

А потом настал час моего триумфа. Мы играли в пристенок, когда во дворе появился Гришка Косой со своей шпаной. Они подошли к нам, и Гришка отобрал все наши копейки. Он ещё подбрасывал их в ладони, когда раздался голос дяди Васи:

– Отдай детям, сывка. Накажу.

Дядя Вася стоял во всей красе – в распахнутом чёрном бушлате и тельняшке.

– Канай отсюда, дядя, – сказал Гришка и сверкнул финским ножом.

Дядя Вася спокойно подошёл к Косому, как-то очень ловко и моментально закрутил ему руку назад, отобрал нож и дал крепкий поджопник.

Деньги нам были возвращены с обещанием переловить нас по одному, а мой авторитет во дворе взлетел на недосягаемую высоту.

Так-то...

Что дальше?..

А дальше вот что.

Дядя Вася очень быстро с тётей Шурой разошёлся и начал жить бобылём. Время от времени он заходил к нам. Они с отцом выпивали по рюмке, и дядя Вася пел про Ванинский порт. Пел и плакал.

Потом я вырос и вернулся в городишко только после смерти отца. Надо было маму поддержать, и морально, и материально.

Дядя Вася по-прежнему иногда заходил к нам и занимал троячок до получки. Деньги он отдавал исправно, и мама шутила, что одолжить дяде Васе – всё равно, что в сберкассе положить.

Потом дядя Вася внезапно ослеп, его устроили в дом престарелых, и я забыл о «друге детства».

Однажды в дверь позвонили. На пороге стоял мужчина в форме подполковника инженерных войск. Он представился сыном дяди Васи, сказал, что дядя Вася умер. А перед смертью дал мой адрес и сказал, что я помогу в организации похорон.

Ну как не помочь? Дело святое.

На похоронах я узнал, что дядя Вася ветеран войны, что имеет ряд правительственных наград, что свои прежние проступки искупил кровью, воюя в штрафной роте.

А когда всё закончилось и мы сели с подполковником помянуть дядю Васю, он мне вот что рассказал.

Оказалось, что дядя Вася был обычным инженером. И когда в конце тридцатых начали грести инженерно-технический состав, дядя Вася взломал двери магазинчика на окраине города, выпил две бутылки водки, закусил шоколадкой и заснул на полу.

Дали ему сущие пустяки по тем временам – пять лет. И при этом – что главное – семья не была поражена в правах.

На зоне дядя Вася «раскрутился». За убийство сокамерника ему добавили десятку и отправили на Колыму. Оттуда он и попал в штрафную роту.

– Я всю жизнь его искал, – говорил подполковник. – Он ведь ради меня и мамы пожертвовал собой.

Оказалось, что нашёл он своего отца только за две недели до его смерти. Но нашёл.

Такое вот счастье выпало дяде Васе – сына повидал.

Мы ещё помолчали минут десять. И Михал Михайлович, закурив, подвёл итог:

– А у меня столько детей по миру разбросано – вы, Боря, и представить себе не сможете! И никто из них меня не ищет. Впрочем, я думаю, что это не их вина.

Профессор

Михал Михалыч задумчиво посмотрел на пронёсшуюся мимо ревушую сиренами машину «скорой помощи» с надписью «Ambulance». Потом безотносительно к нашему разговору сказал:

– А я ведь, Боря, один раз хирургом был. Пришлось. Выхода у меня не было, вот и пришлось. И ревели не сирены. Ревела и орала простая деревенская баба, которой я без всякого наркоза зашивал рану льняными нитками.

Я угостил Михал Михалыча сигаретой. Он с удовольствием затянулся и продолжил:

– Я был молод тогда и в самом деле верил, что молодым везде у нас дорога. И почему мне было не верить? Я был оставлен на кафедре и писал диссертацию с мудрёным названием: «Версия происходящего как элемент сюжета в прозе Пантелеймона Романова». Кроме того, я читал курс русской литературы восемнадцатого века, и это мне нравилось. Мне дали отдельную комнату в общежитии. И если купить двести граммов дешёвых конфет вахтёрше, в эту комнату можно было безбоязненно привести девушку. Жизнь была прекрасна и удивительна. Но, Боря,

любая красота имеет и свою безобразную изнанку. Через год с небольшим меня пригласили в партком, где человек с тусклым лицом поинтересовался, знаю ли я, что моя научная работа противоречит идеологии Партии на современном этапе? Мне бы согласиться, признать ошибки, покаяться и жить спокойно. Но я был наивен, как младенец, и начал спорить, крича, что сейчас свобода и что все мы скоро будем жить при коммунизме. В результате непродолжительной дискуссии мне объяснили, что в коммунизм меня не возьмут; моя тема была закрыта, с кафедры я был уволен и лишён места в общежитии. Можно было бы вернуться в свой городишко к папе и маме. Но это было так унижительно – возвращаться неудачником, что я и думать об этом не хотел. У меня началась депрессия. Я чувствовал себя никчемным и бездарным. Я запил. Но запой только ухудшил моё состояние. И я всерьёз начал подумывать о самоубийстве.

И вот однажды, сидя в пивной, я вспомнил, что где-то в глухой деревеньке живёт моя тётушка. И что тётушка эта даже иногда присылала мне письма, которые писала соседская девчонка: сама тётушка была неграмотна. Я порылся в своих бумагах, нашёл письмо с обратным адресом, занял у друзей денег – и устроился на полке плацкартного вагона.

Я вышел в пыльном районном городке, из разговора со скучающей кассиршей автобусной станции выяснил, что до нужной мне деревни около шестидесяти километров, что автобусы туда не ходят и никогда не ходили, и взял такси.

Мрачный таксист высадил меня у развилки, объяснил, что дальше дорога говняная и машина не пройдёт. Потом он утешил меня тем, что до места мне осталось всего километров пятнадцать, развернулся и уехал.

Уже вечерело, когда я, присев на кочку, стал рассматривать вожделенную деревеньку. В ней-то и домов было всего около пятидесяти. Нет. Не домов, а хатёнок, крытых соломой. Я послушал, как кричит козодой в поле, поднялся и уже через полчаса был в объятиях тётушки. Постелила мне она на сеновале. Было душно. Мне не спалось, и я слушал, как шуршит в сене нечто незнакомое. И жизнь вокруг тоже была незнакомая и непонятная.

На следующий день после завтрака, только я сел покурить на завалинке, как прибежала молодая женщина. Она стала кричать, что они стоговали сено, что Мария была на стоге, что кто-то неразумный поставил к стогу вилы зубцами вверх, и что Мария, съезжая со стога, села на эти вилы. Закончила эта женщина свой монолог странной фразой:

– Побежали, профессор! Мария уже в хате. За Ефимом, еёним мужиком уже послали. Давай быстрее, а то крови много ушло.

Я сказал ей, что мне до профессора, как до луны пешком, но, похоже, она меня не поняла. Тогда я подумал, что я единственный образованный человек на всю деревню и что я не могу бросить эту несчастную Марию без помощи. Просто не имею права. И я пошёл. По дороге я представлял себе распоротую вилами вагину, и мне было очень не по себе.

Мария лежала на столе, прикрытая тряпками. Девочка веткой отгоняла мух. Бабы теснились в углу. Я поднял тряпьё, осмотрел раны, и мне стало легче на душе. Эта Мария была везучей невероятно. Четыре рваных глубоких борозды кровоточили у неё на заднице. Остальное было не затронуто. Я постоял минуту-другую – и распорядился вскипятить воду, принести мне ножницы, опасную бритву, спринцовку, штопальную иглу, льняные нитки, несколько велосипедных ниппелей и бутылку самогона. Потом я послал девочку с веткой нарвать побольше тысячелистника, который в этих краях величали кашкой. Девочка приволокла охапку этой кашки, вода вскипела, и я заварил траву. Потом процедил и остудил котелок в ведре с холодной водой.

Это, Боря, я вам так подробно рассказываю, потому что мне приходилось продумывать порядок операции на ходу. А это было не так уж и просто.

Я дал Марии стакан самогона в качестве болеутоляющего, перевернул её на живот и начал злодействовать. Из спринцовки я промыл раны отваром тысячелистника. Потом бритвой начал обрезать бахрому мяса по краям ран. Вот тут-то Мария и начала орать. Я не успел закончить, как в хату вбежал мужик с топором в руке.

– Издеваетесь, суки! Зарезать хотите? – заорал мужик, – всех на хрен поубиваю!

Я, обернувшись, приложил ему правым прямым. Мужик сел на пол и выронил топор. Уже боковым зрением я видел, как его подхватили бабы и поволокли.

А я продолжил. После того, как я обработал раны, остались пустяки. Я изогнул иглу и начал зашивать, вставляя вместо дренажей резинки от ниппелей.

Через полчаса я уже сидел на лавке возле дома и курил. Подошёл мужик, что с топором бегал, и сел рядом. Скрутил козью ножку, прикурил и сказал:

– Ты, профессор, не обижайся. Это я понарошку с топором... Люблю я её – вот и расстроился. Спасибо тебе. Вечером приду – бутылку разопьём.

Вот так, Боря, началась моя сельская жизнь. Днём я помогал тётушке по хозяйству, вечером сидел с мужиками возле нежилой хаты, служившей чем-то вроде клуба, покуривал и слушал разговоры о том о сём. В основном о том, что жить становится всё трудней и трудней.

Ночами ко мне на сеновал пробиралась бойкая девка Настя. У неё было горячее дыхание и прохладные бёдра.

И жизнь снова была хороша. И в этой прекрасной жизни было и мне место.

Через две недели, когда я шёл по глинистой непроезжей дороге к большаку, мне уже было ясно, что коммунизм не наступит никогда. Потому что не может быть социальной справедливости, пока существует рабство, называемое «колхоз». И от этого понимания мне почему-то было хорошо. Да, Боря. Частенько бывает человеку хорошо только от осознания того, что кому-то хуже, чем тебе.

Я вернулся к родителям, а через два дня пришёл в райком и написал заявление с просьбой отправить меня на ударную комсомольскую стройку.

Михал Михалыч говорил, а я думал, что приврал он несколько. Точнее сказать, приукрасил. Уж очень много странного было в его рассказе.

А потом я решил, что ничего страшного в этой лжи нет: это была его жизнь. Это было его, и только его, прошлое. И он вправе сочинить об этом прошлом миф. Причём такой, какой захочет...